

Петр Сойфер



**Палач
его
святейшества**

Петр Сойфер

Палач его святейшества

<https://litres.ru/74052249>

SelfPub; 2026

Аннотация

Джованни Баттиста Бугатти — реальная историческая фигура. За шестьдесят восемь лет службы официальный палач Папской области казнил пятьсот четырнадцать человек. Он был набожным католиком. Он был искусным костоправом, тайно лечившим соседских детей. И он каждое утро надевал красный плащ.

Этот роман — исповедь. Старый Бугатти стоит перед весами в пространстве без времени, и перед ним — все пятьсот четырнадцать. Они не обвиняют. Они просто смотрят.

Что происходит с человеком, который семьдесят лет нарушает заповедь «Не убий» во имя закона наместника Христа на земле? Где граница между долгом и преступлением? Можно ли быть одновременно праведником и палачом?

Суд совести не знает оправданий. Только правду.

Петр Сойфер

Палач его святейшества

ПАЛАЧ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА

Исповедь на весах Совести

Доктор Пётр Сойфер

ПРЕДИСЛОВИЕ

Джованни Баттиста Бугатти родился в Риме около 1779 года и умер там же в 1869-м. Девяносто лет жизни, из которых шестьдесят восемь он провёл на службе в должности официального палача Папской области. За это время он казнил пятьсот четырнадцать человек — цифра, которую он сам фиксировал в личном дневнике, известном как *Annotazioni*. Этот дневник сохранился. Он хранится в Риме и по сей день.

Горожане называли его Мастро Титта — Маэстро правосудия. Он был фигурой парадоксальной даже по меркам своего времени: глубоко верующий католик, исправно посещавший мессу, и человек, чьи руки оборвали пятьсот четырнадцать жизней. Потомственный костоправ, тайно лечивший переломы соседских детей по ночам, — и официальный палач, обязанный являться на казни в красном плаще с папской

символикой. Он жил в Трастевере, на той стороне Тибра, куда отселяли всех, чьё присутствие считалось необходимым, но оскверняющим. Без служебной надобности ему было запрещено переходить мост Святого Ангела.

В 1845 году молодой Чарльз Диккенс наблюдал за его работой на площади и описал увиденное в книге «Картины Италии». «Карательный автомат в ярко-красном плаще» — так он написал о Бугатти. Бездушный. Точный. Без тени человеческого участия.

История сохранила о нём почти всё: даты, имена, методы, число казнённых. Она не сохранила одного — что происходило внутри. Что думал человек, который каждое утро надевал красный плащ и каждый вечер снимал его. Как уживались в одном теле руки лекаря и руки палача. Что оставалось от христианина, который семьдесят лет нарушал заповедь «Не убий» во имя закона наместника Христа на земле.

Этот роман — попытка ответить на этот вопрос.

Все исторические факты, упомянутые в тексте, соответствуют документальным источникам. Исповедь, которую вы прочтёте, — авторская реконструкция. Потому что дневник Бугатти содержит пятьсот четырнадцать записей. В каждой — дата, имя, метод. И ни в одной — ни слова о том, что он

чувствовал.

Молчание такого масштаба требует объяснения.

Доктор Пётр Сойфер

ПРОЛОГ. НА ВЕСАХ

Я открыл глаза — и не увидел потолка.

Надо мной висело небо, какого не бывает в природе: серое, плотное, как вата, пропитанная пеплом. Начиналось на высоте вытянутой руки, уходило вниз, за горизонт, лежавший под ногами. Направлений здесь не было — только пространство, похожее на рассветный Тибр в ноябре, когда туман съедает мосты.

Я лежал на камне — холодном, гладком, не мраморном. Мрамор имеет волокна, поры, историю. Этот был стерильным, как лезвие скальпеля перед первым надрезом. Я провёл по нему ладонью. Пальцы — старые, узловатые, суставы раздуты ревматизмом — двигались медленно, привычно ошупывая. Поверхность не давала отпора. Просто была.

Я сел. Кости скрипели — как скрипели последние трид-

цать лет, единственный знакомый здесь звук.

Передо мной стояли весы.

Бронзовые, рыночные, для зерна или мяса. Чаши пусты, стрелка висела между ними неподвижно — указывала прямо вниз, в пустоту, словно невидимый груз уравнивался идеально. Я знал эти весы. Видел их каждый раз, когда закрывал глаза на ночь. Раньше они были внутри. Теперь — здесь.

— Вставай, Джованни.

Голос был моим. И не моим. Звучал из тумана — отовсюду и ниоткуда, без гнева, без милосердия. Только ожидание.

Я встал. Ноги держали. Девяносто лет — много для тела, но здесь тело было не главным. Стоял в сером пространстве, в старой чёрной куртке, в сапогах, которые носил последние пятнадцать лет. Красного плаща не было — это я заметил первым, и это вызвало странное, почти детское облегчение.

Из тумана выпал предмет. Упал на камень у моих ног со звуком, похожим на выдох.

Книга. Маленькая, в кожаном переплёте, с потёртыми уг-

лами. Я узнал её по запаху — чернила, собственный пот, старая бумага и что-то ещё. Что-то, что я предпочёл бы не вспоминать.

Annotazioni. Мой дневник.

Я наклонился — и увидел свои руки. Левую и правую.

Левая — тёплая, кожа розовая, живая, синие жилки пульсировали под поверхностью. Пальцы гибкие — те самые, которыми я вправлял вывихнутые плечи соседских детей, которые чувствовали каждый бугорок кости, каждый нерв, каждую дрожь боли, переходящую в облегчение.

Правая — холодная, бледная, почти прозрачная, ногти похожи на лёд. Не пульсировала. Просто лежала — тяжёлая, чужая, инструмент.

Я открыл дневник. Первая страница. 22 марта 1796 года. Фолиньо. Казнь №1.

Строки кровоточили.

Не растекались — капали. Медленно, ритмично, с каждой строчки падала капля, чёрная, густая, тонула в камне без следа. Но запах был железным.

Из тумана вышел человек. Или то, что осталось от человека — в рубище, испещрённом пятнами, форму которых я узнал мгновенно. Видел такие пятна тысячи раз. Результат работы моих рук.

— Никола? — прошептал я.

Он не ответил. Просто смотрел — глаза пусты, но не слепы.

За его спиной, в тумане, проступали другие фигуры. Одна. Пять. Сорок. Сто. Они не двигались, не шумели, не дышали, тянулись вглубь серого пространства — ряд за рядом, тень за тенью, до самого горизонта, которого не было. Их было пятьсот четырнадцать. Я знал это без счёта — как знают кость под пальцами, не видя, но безошибочно.

На левую чашу весов — ту, что ближе к тёплой руке, — упала первая капля крови из дневника. Звякнула, как монета.

На правую — ничего.

Стрелка качнулась.

— Начинай, — сказал мой голос. — Начинай сначала. Здесь нет никого, кроме нас. И нет никакого алиби, кроме правды, которую ты сам себе запрещал.

Я посмотрел на дневник, на кровь, которая капала всё быстрее. И начал говорить.

ЧАСТЬ I. ТЕНЬ ТРАСТЕВЕРЕ

Глава 1. Верёвки и кости

Родился я в доме, где верёвки сушились на балконе рядом с бинтами.

Мать вешала бельё слева — рубашки отца, мои сорочки, её передники. Справа — толстые пеньковые канаты, смоляные концы, узлы, которые отец завязывал на ночь, проверяя прочность. Между ними, на верёвке для носков, висели человеческие кости.

Не целиком. Фрагменты. Образцы. Те, что отец покупал у анатомов больницы Святого Духа или получал в обмен на услуги — для учёбы, говорил он, для точности, чтобы знать, как ломается то, что Бог сделал не для ломки.

Страх приходит с пониманием, а понимание — с языком. До языка есть только картинки, запахи, прикосновения. Прикосновения костей были сухими, тёплыми от солнца — с шероховатостью, похожей на старое дерево. Я водил по ним пальцами, прежде чем научился читать. Знал: ребро изогнуто так, а не иначе, здесь тоньше, здесь хрустит.

Мой отец, Микеле Бугатти, был костоправом и палачом. В Риме эти два ремесла жили под одной крышей столетиями, и никто не находил в этом парадокса. Те же руки, что вправляли вывих, ломали шею. Те же пальцы, что находили точку давления для исцеления, рассчитывали точку удара для казни — естественно, как день и ночь.

Мы жили в Трастевере. Не в том, что нынче, с тавернами для немцев и мастерскими для туристов. Наш Трастевере был кварталом за Тибром, где вода разделяла не просто берега, но миры. С той стороны — Рим, вечный город, семь холмов, церкви, папский двор. С нашей — грязь, наёмники, евреи в гетто, палачи, гробовщики — все те, кого закон признавал необходимыми, но чьё прикосновение оскверняло.

Мост Святого Ангела соединял нас с ними и разделял. Переходить его — только по службе, без красного плаща нельзя, без официального поручения нельзя. Даже мост знал, кто мы такие.

Мне было пять или шесть лет. Стоял на балконе, держался за перила, покрытые смолой, и смотрел на тот берег. Там играли дети — маленькие фигурки в цветных курточках бегали по набережной, кричали, махали руками. Тибр глотал их голоса, как глотал всё остальное.

— Папа, — спросил я. — Почему я не могу к ним?

Отец чистил инструменты, руки двигались медленно, круговыми движениями, полировали сталь овечьей шерстью. Не поднял головы.

— Потому что они — люди. А мы — функция.

— Что такое функция?

— Это когда тебя нужно, но тебя не зовут по имени. Ты — дверь. Ты — нож. То, что должно быть, но чего не должно быть видно.

Я не понимал. Но запомнил слово. Функция — звучало тяжело, по-ремесленному, как «молоток» или «пила». Инструмент не выбирает, во что ударить. Он просто ударяет, когда сжимают рукоять.

— Когда я вырасту, — спросил я, — я тоже буду функцией?

Отец остановился, руки на мгновение замерли над кожаным футляром, потом продолжили полировку — и голос стал ещё тише.

— Ты родился в семье Бугатти. У тебя нет выбора, Джованни. Ты можешь стать костоправом. Или палачом. Или тем и другим. Но ты не можешь стать тем, кем хочешь, — потому что то, чего ты хочешь, оно на том берегу. А мы здесь.

Я посмотрел на руки. Маленькие, грязные, с чёрными ногтями от смолы. Сжал их в кулаки — в костях что-то щёлкнуло. Не больно. Как предупреждение.

Глава 2. Ночь и рынок

Той ночи я не забуду — может, даже яснее, чем первую казнь.

Мне было двенадцать, или тринадцать. В том возрасте годы текут вместе, как вода в Тибре после дождя. Лето было жаркое, воздух в Трастевере стоял, как в печи. Я спал на кухонной лавке, потому что в комнате, которую делил с бра-

том, умершим от лихорадки в прошлом году, было невыносимо душно.

Разбудил стук. Не в дверь — в окно. Тихий, нервный, как сердцебиение крысы в ловушке.

Отец встал первым — он всегда спал в рубашке, «на случай», не уточняя на какой. Открыл ставню, помолчал, потом кивнул.

— Заходите через чёрный ход. Тихо.

Повернулся ко мне — лицо в тени, но глаза блестели, как у кошки в темноте.

— Вставай. Чистую рубашку. Умой руки.

Женщина стояла во дворе, в квадрате звёздного неба, между стен, пахнущих луком и золой. Держала на руках мальчика лет шести — тот не плакал, просто лежал, прижавшись щекой к её плечу, и его правая рука болталась под углом, каким рука не должна болтаться.

— Упал с лесов, — прошептала женщина. — На стройке. Муж работает... Мы не можем... Больница спросит... А потом...

Она не договорила. Мы знали, что «потом». Кто-то узнает, что ребёнка лечил палач, — и рука, которая исцелила, станет такой же нечистой, как та, что казнит.

— Положите его на стол. Джованни — фонарь и воду.

Мальчик оказался лёгким. Его рука заканчивалась там, где должна была продолжаться.

Отец прикоснулся к ней. Пальцы двигались медленно, почти ласково — не давил, слушал. Потом посмотрел на меня.

— Положи ладонь сюда. Почувствуй.

Моя маленькая, грязная, смолистая ладонь легла на плечо мальчика. Кожа горячая, почти обжигающая. Под ней — мышца, напрягшаяся от боли, и глубже — твёрдость кости, ушедшей не туда. Как дверь, сбитая с петель.

— Чувствуешь, где сустав?

— Да.

— Чувствуешь, где он должен быть?

Я закрыл глаза — и впервые в жизни увидел руками. Кожа, мышца, сухожилие, кость — всё одним целым, и в этом целом что-то смещено. Камень, который можно вернуть на место, если знать, в какую сторону толкнуть.

— Да.

— Тогда держи. Крепко. Думай о том, что будет, когда кость встанет на место. Не о крике. О том, что будет после.

Мальчик закричал — не громко, был слишком измождён. Всхлип, прерванный ударом, когда отец одним коротким движением — не рывком, а толчком, как вправляют дверь, — вернул плечо в гнездо. Потом лучевая кость. Потом шина из лозы и бинтов.

Всё заняло меньше часа.

Женщина подошла ко мне. Взяла мои руки — обе. Её ладони мокрые от слёз и пота. Прижала пальцы к губам, и слёзы падали на мои костяшки — горячие, чужие, человеческие.

— Благодарю вас, синьор... Бог вас благословит... Бог вас...

Слово застряло у неё в горле. Она отпустила мои руки так быстро, словно обожглась, схватила мальчика, прижала к себе — и они ушли в темноту. Дверь захлопнулась.

В доме остался только запах — её слёз, её страха, её благодарности, оборвавшейся на полуслове.

Я стоял у стола и смотрел на руки. На левой ещё оставалась влага — от её губ, от её слёз, от дрожи чужой благодарности. Тёплая. Пульсировала.

Отец мыл инструменты. Не обернулся.

— Ложись спать, Джованни.

— Она сказала «Бог вас благословит», — произнёс я. — А потом остановилась. Почему?

Отец замер. Вода в тазу была чёрной.

— Потому что вспомнила, чьи руки её исцелили. И поняла: благословение через такие руки она принять не может. Потому что завтра эти же руки могут ломать кости на плахе. Тогда её благодарность станет соучастием.

— Но я же помог. Я сделал хорошо.

Он обернулся. Впервые за этот вечер я увидел его лицо полностью — старое, изборожденное, уставшее так, как устает камень, на который веками падает вода.

— Ты сделал своё дело. И она сделала своё. Ложись.

Я лежал на лавке и чувствовал левую руку. Всё ещё тёпую. Это было новое — не функция, не инструмент, не расчёт. Живое.

Утром мы пошли на рынок. Не на тот, что на Кампо деи Фьори, — туда нам нельзя без плаща. На наш, трастестерский, у ворот Санта-Мария. Там продавали рыбу, которую не купили на том берегу, овощи с червоточинами, ткани со скидкой за брак.

Люди расступались — не резко, не крича, просто делали шаг в сторону, опуская глаза. Кто-то крестился. Кто-то шептал.

Мы прошли мимо лавки с сыром.

Там стояла она. Торговала — взвешивала пекорино для покупательницы в синем платке. Увидела нас. Я увидел, как она увидела.

Не крикнула. Не убежала. Просто отвернулась — быстро, резко, как будто в глаза ударил дым от пожара. Когда мы прошли, я услышал, как она плюнула. Громко, целенаправленно. Слюна упала на булыжник рядом с моим сапогом.

Я остановился. Посмотрел на неё. Не обернулась. Смеялась с покупательницей, показывала, какой сыр свежий, — и голос был обычным, весёлым, человеческим. Таким же, каким был вчера ночью, когда она плакала над моей рукой.

— Не останавливайся, — сказал отец, не оборачиваясь.

— Но она...

— Я знаю. Иди.

Я шёл, и левая рука постепенно остывала. Солнце грело, но не так. Я сжал ладонь в кулак, пытаюсь удержать тепло, — но оно утекало, как вода сквозь пальцы. К концу рынка моя рука была такой же, как правая. Холодной. Сухой. Функциональной.

В этом мире есть два вида прикосновений. Одни оставляют тепло, но его нельзя показать на людях. Другие оставляют пустоту, но их видят все. Между ними — мост. Длинный,

каменный, с ангелами на перилах. Мост, который я должен был перейти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.